



Николай Гайдук

Родился на Алтае в 1953 году. Детство прошло в селе Волчиха. Окончил медицинское училище, Алтайский государственный институт культуры, Высшие литературные курсы. Поэт, прозаик, автор книг стихов и прозы. Член Союза писателей России.

МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

1

Затравленный, затерянный в бескрайнем снеговье и холоде, он добирался домой. Медленно мытарился на перекладных, напропалую топал перелесками, с потаенной радостью глядя назад — вьюга, сестра беглеца, старательно заваливала норы, остававшиеся после темных, грубых кирзачей, в которых ноги скоро будут как чужие.

Зима в тот год куражилась, удержу не зная. С декабря метели раскрутились на полную катушку — серебристые нитки со свистом мотались по целым неделям. Сугробы в сибирской тайге с головой накрывали строевые сосняки; громадный кудлатый кедрач с холодным перехрустом хрупкие лапы ломал. Деревни и села хоронились под глубоким снеговьем — только черные дымки чубами кучерявились над ледяными лбами крутых сугробин.

Железную дорогу во многих местах загромоздили стога и скирды снега — свирепый ветер накопил, наскирдовал.

Поезда там и тут останавливались, коченели, примерзая к рельсам, дожидаясь, пока снегоочистительная техника освободит из плена. А потом, надсадно ревя на перегонах, поезда спешили, наматывая вёрсты на колеса, — упущенное время пытались наверстать.

2

На перегоне от старинного Тобольска до захолустной станции Иша по вагонам пошли два мрачноватых милиционера — приглядывались к пассажирам, требовали предъявить документы.

Остромир Железнин издали заметил «краснопёрых». Забеспокоился, гоня желваки по скулам. Поднялся, не делая резких движений.

— Пойду, — нарочито зевая, сказал попутчикам. — В вагоне-ресторане посижу. Тоска. Минералки грамм двести приму на грудь, развееусь.

— А пальтишко-то зачем с собой берешь? — удивились попутчики.

Железнин отбойрился шуткой:

— А может быть, я там и заночую.

— Где? Под столом?

— Ну, да. Есть такая слабость у меня — ночевать под столом в ресторане, укрывшись крахмальной салфеткой.

Добравшись до последнего вагона, парень оглянулся и передернул плечами: «А минералочка, стерва, не помешала бы! Для сугреву, для храбрости остаканиться было бы — самое то...»

Сибирская тайга — в том месте, где он сиганул — подвалила вплотную к железной дороге.

«Посадочную площадку» выбирать было некогда, и парень приземлился на молодые сосёнки под снегом — чуть глаза не выколол. Матюгнувшись, постоял враспопырку. Затем зубами цапнул за краешек темной перчатки — стянул, ощериваясь. Проворными сильными пальцами что-то пощупал за пазухой, словно проверял — на месте ли? Угрюмые глаза на несколько секунд повеселели: «На месте».

— Ну, вот, — Железнин простужено покашлял, — перекурим это дело, тачки смажем и вперед...

Жадно затянувшись несколько раз подряд, он аккуратно погасил окурочок, но не выбросил — обратно в пачку сунул, берёт.

Зимний день короток. Глядь-поглядь — уже подвечерело. Гребешки сугробов малиново пылали петушиными гребнями. Между деревьями и в перелесках вытягивались розовые полосы, напоминая вино, пролитое на белой скатерти. Голубоватые тени становились серыми, похожими на волчьи шкуры. Глухотемень постепенно окружала, давила. Но вскоре в черном небе первая звезда — куском холодной искристой соли — раскрошила свет над каменным котлом глухого урочища, через которое — в виде железной дужки — перекинут мост.

Остромир подумал двинуть в сторону моста, но заметил будку на краю. Мост охраняли — смутно маячила фигура с карабином или автоматом.

«Понатыкали повсюду этих попок чертовых!»

Он потопал в другую сторону, удивляясь, как быстро темнеет, как морозика наглет с каждой минутой. Железная дорога, изобразив огромный «зигзаг удачи» в соснах, вышла на серебряный простор — небольшое поле впереди.

В темнеющем воздухе заметен стал кроваво-красный семафор — горел как будто Марс на небесах, вдалеке уже почти слившихся с пепельными снегами.

Пройдя мимо холодного «Марса», светящего на длинном железном столбе, парень вскоре оказался рядом с каким-то безымянным полустанком. Увидел огороды, сеновал. Мирно курились трубы трех-четырёх домов, навьюченных сугробами. Желтовато, с медовым оттенком, сияли окна, окованные ледком. Приближаясь, беглец почувствовал запах древесного дымка и застонал сквозь зубы. Представил, как было б хорошо сейчас ввалиться в теплую избу, со скрипом стянуть сапоги — ледяные клятые колодки — кружку с кипятком обнять одеревенелыми ладонями. Но звериное чувство опасности — острое чувство, выручавшее не раз, — заставляло не торопиться. Он шапку сдвинул с уха. Прислушался. Где-то псина коротко залаяла. Ворон прокаркал, будто прокашлял простуженно, пролетая неподалеку.

И снова — тишина, в которой слышно, как напряженно дышит человек, хлопает заиндевелыми ресницами.

Кривое и убогое зданьице вокзала по самую трубу завалено снегами. Неподалеку растущие высокие елки и пихты — верхние, раскидистые лапы — надломилась под тяжестью серебристо-свинцового груза.

Собираясь пойти на вокзал, Остромир обомлел оттого, что едва не вляпался, как ему показалось.

Дверь вокзала скрипнула, и он увидел милиционера. То есть это, если приглядеться, был затрапезный железнодорожник в черной шинели. Но Остромир увидел то, чего боялся.

Воровато зыряка по сторонам, он стал уходить от вокзала, используя прикрытие заснеженных деревьев на просёлке.

И вдруг оттуда, куда он шел, раздался гулкий выстрел, округлыми осколками раскатывая эхо по тайге, по сопкам. Сердце жарко дрогнуло, и Железнин машинально шарахнулся куда-то в сторону — в холодную манную кашу, которую упорно стал «расхлебывать». Отбежал в перелесок и затихарился, хрипловато дыша за огромной сосной.

И опять в тайге неподалеку раскололся оглушительный выстрел. И опять Железнин содрогнулся и машинально дерево обнял, мандражируя так, что верхние ветки тряслись, комьями роняя снег за воротник.

Сердцебиение стало похожим на стук вдалеке проходящего поезда, хотя кругом царил тишина.

Вот что значит страх, давно и крепко в кулаке своем держащий душу, — страх человека, за которым охотятся, будто за зверем, заставлял искать уголки задичалых урманов.

Приоткрытым ртом хватая воздух, на спирт похожий, Остромир едва не на карачках поднялся на лысый пригорок — и замер.

Под небесами на белоснежном дальнем берегу, обласканный последними закатными лучами, золотом сверкал церковный купол.

Всё, что прекрасно смотрится на расстоянии, частенько теряет свою самобытную прелесть при ближайшем, скрупулезном рассмотрении. Однако церковь Николая Чудотворца — спасибо мастерам! — нисколько не разочаровывала вблизи. Построенная по классическим канонам архитектуры, она уютно, прочно угнездилась на речном крутояре, состоявшем из гранитного монолита, плавно уходящего под воду и образующего гребень переката — летнею порой тот перекат широко и шумно пенится, клокочет, угрожая катерам и лодкам. Речники это опасное местечко оббегают стороной, поругивают. Зато издалека церковь Николая Чудотворца служит маяком для речников — сусальным золотом горящий купол в хорошую погоду отлично видно километров за двенадцать вниз и вверх по течению.

В церкви Николая Чудотворца правил службу седобородый священник, тоже, кстати, Николай, окончивший Тобольскую семинарию. Вот он-то и встретил запоздалого гостя — пригласил в кедровую, аккуратно рубленую келью. Там было светло и тепло, пахло сухими травами, лампадным маслом. Да и сам священник — весь он был как будто лампадным маслом пахнувший, благообразный, чтоб не сказать иконообразный.

«С кем поведешься, от того и наберешься!» — подумал Остромир, оглядывая стены, различными иконами украшенные.

Возле окна притулилась небольшая столешница, укрытая скатертью, расшитой крестами. На столе самовар улыбался начищенной медью. Черный хлеб из-под белой салфетки выглядывал. А еще там были две или три просвиры — богослужебный литургический хлеб.

— Хорошо тут... — Запоздалый гость сглотнул слюну. — Можно зимогорить...

— Хорошо, слава Богу. Присаживайся, — отец Николай погладил кедровую стену с сучками сургучного цвета. — Сибирские кедры, конечно, отличаются от кедров ливанских, настоящих...

— А сибирские что же — не настоящие? — удивился пришелец, протягивая озябшие руки в сторону печки.

— Ливанские кедры, сын мой, издревле почитаются как священные — именно за этими деревьями царь Соломон снаряжал когда-то экспедиции, чтобы из драгоценных ароматных стволов соорудить себе храм, — батюшка, рассказывая, по привычке бороду оглаживал. — Однако и наши, сибирские кедры, а точней, сибирская сосна — штука тоже добротная, царская. Чуешь дух благодати?

Вздыхая, запоздалый гость придвинулся к печке.

— Дубарина, мать его... даже ног не чую, а не то, что дух благодати.

Священник помолчал, сурово, пронизательно глядя на гостя.

— Заблудился, говоришь? Издалека, значит, будешь?

— Нет, я из этой... станция Ольховка...

Отец Николай почти всех прихожан знал не только в лицо — поименно.

— Так-так, — он согласно покачал головой и темно-синюю скуфью не спеша надвинул на широкий лоб, распаханый глубокими морщинами. — Ну, из Ольховки — значит, из Ольховки.

Нервно почесывая черные, жидкие волосенки, прикрывающие лицо, Железник спросил:

— А у тебя, отец, какие-то сомнения?

— Сомнений абсолютно никаких.

В голосе священника таилась грустная какая-то двусмысленность. Ответ его можно было расценить еще и так: «Абсолютно никаких сомнений, что ты врешь». Так, по крайней мере, показалось парню, и поэтому он поспешил добавить:

— Я там недавно. К матери приехал.

Батюшка поправил крест, висевший на груди.

— К матери — это прекрасно. Почитать родителей — святое дело. Тебя как звать-то, сын мой?

— Зови Мстиславом — не ошибешься.

Священник опять покачал головой.

— Серьезное имя.

— Серьезное, да. Я шутить не люблю.

Черные глаза у парня — твердые, смелые. И в то, что он шутить не любит, как-то сразу верилось.

Вдалеке за тайгой, за речными излуками пряталось зимнее солнце — косые лучи напоследок прострелили березняк на берегу, озарили стену теплой кельи.

В эти минуты можно было бы свет запалить, но отец Николай рассудил, что лучше теперь посумерничать: в такой обстановке человеку проще душу распахнуть.

На столе появился подсвечник. Три больших, винтообразно кручёных свечи загорелись, потрескивая фитильками. Причудливые тени заколыхались по стенам, откуда смотрели всевозможные лики святых.

— Давно? Из Ольховки-то?

— С утра иду.

— А как же заблудился? Другой дороги тут как будто нет.

— Струхнул маленько. Показалось, будто волки следом чешут. Ну, вот я и шархнулся в тайгу.

Священник поставил перед ним чашку ароматного, дымящегося чая.

— Волки шалят, — он поправил свечу, горячей слезою оплывшую. — На прошлой неделе в соседний коровник полезли...

— Волки позорные, они такие... — Парень, плохо слушая, жадно посмотрел на хлеб и отвернулся. — Вкусный чаек. С морозу-то лафа.

— Так ты, может, поешь? С утра в дороге, говоришь. Проголодался?

— Не откажусь.

— Пицца, правда, у меня постная.

— Сойдет и постная! — обрадовался гость, через минуту одной рукой налегая на ложку, а второй прижимая к себе драгоценную миску с едой. — Вот хорошо, в натуре. О-о! Батя, благодарствую...

— Быстро ты управился.

— Кто как работает, тот так и ест.

— Это я согласен, — священник улыбнулся. — Чайку еще налить?

— Можно. Околел, как цуцик, — парень отодвинул пустую миску. Пошевелил ноздрями с крупным вырезом. — Классный чаек. Ну, прямо как заморское вино.

— Сам траву собираю. Намного вкусней, когда сам. Прихожане, старушки приносят пучками, но люблю, когда сам. Здесь летом благодать в округе. Райское место.

После еды пришелец разомлел. Улыбка на губах затеплилась. Суровые глаза его так ословели, будто чай и в самом деле оказался хорошим заморским вином.

— Тут, правда, как в раю, — он зевнул, оглядывая келью. — А в раю не курят, да?

— Не курят.

— Я так и понял. Выйду.

За дверью уже было многозвёздно — чистое, яркое небо покоилось на кронах сосен, находившихся поблизости от храма. Слабо серебрился темный крест на маковке. Неподалеку на крутояре мороз деревья обнимал, аж косточки хрустели. Толстый лед на реке с тихим перезвоном изредка раскалывался — тонкая трещина стеклянной стрелой стремительно скользила от берега до берега. Воробей шевельнулся где-то под застрехой, слабым голосом четко чиркнул по тишине.

Осторожно ступив на тропинку, прочищенную в глубоком снегу, парень подошел к массивной двери «Чудотворца». Постоял, задрав голову, посмотрел на слабо освещенный образ, находящийся над дверью храма, — Спас Нерукотворный глядел на Остромира, в то время не имевшего понятия, что это за образ. Он был уверен, что церковь закрыта, и удивился, когда дернул ручку на себя и оказался внутри прохладного, звездами наполненного храма: звезды смотрели в полукруглые большие окна и продолговатые оконца, прорезанные где-то под самым куполом.

4

В келью он возвратился как будто другим человеком. Что-то непонятное с ним произошло, пока стоял перед многочисленными иконами, возле которых горели стеклянные лампадки, — стоял, смотрел на строгие, грустью и печалью наполненные лики, хмурился и думу свою думал.

Вернувшись, парень снова сел за стол напротив священника, читавшего пухлое какое-то «Житие святых».

— Знаешь, отец, а я ведь не из Ольховки.

— Знаю, — батюшка спокойно снял очки и закрыл залистанную книгу. — До нее отсюда — километров пять. А ты, Мстислав, с утра пошел. Какая ж тут Ольховка?

— И зовут меня совсем не так, — признался гость, наблюдая за воском, слезою стекающим на подсвечник. — Остромиром зовут. Теперь я тебе честно говорю.

Священник вздохнул.

— Всех нас одинаково зовут.

— Да ну? Это как же?

— Раб божий.

— Нет, извини, отец. Я не согласен, — парень пристукнул кулаком по колену. — Не хочу быть рабом!

— А твоего согласия тут и не спрашивают.

— То есть, как это — не спрашивают?

— А вот так. Ты родился, крестился, Господу Богу в делах пригодился.

Железник промолчал, опуская мрачно блеснувшие глаза. Ногами нервно постучал по краю чайной чашки — в ней тонко зазвенела ложечка.

— Я, можно сказать, в бегах, отец. Думаю, не сдашь меня в милицию.

Фитили на свечках потрескивали в тишине. Пламя в печурке плескалось.

— И захотел бы, так не сдал. Здесь милиции нет поблизости на полста километров.

— Во, как повезло. А на вокзале, знаешь... напугал меня мужик в шинели. Железнодорожник он. А я подумал... Вот уж действительно — у страха глаза велики, — Остромир ощерился, показывая редкие прокуренные зубы. — Отец, а тебя не смущает такой вот... незванный гость? Не боишься?

Священник внимательно посмотрел на него.

— А почему я должен бояться?

— Ну мало ли. Вдруг я какой-нибудь рецидивист, убийца. Из тюрьмы бегу.

— Знаешь, — задумчиво заговорил священник, — был старец такой — Серафим. Серафим Саровский. Он даже с медведем дружил. Преподобный даже из рук своих кормил медведя. Мне, конечно, далеко до Серафима, но... Зачем же мне бояться человека? Да и потом... Едва ли ты из этих, нет, едва ли.

— Откуда такая уверенность?

— Я видел тех, кто пробовал бежать... из тюрьги, как ты говоришь. Эти люди другого сорта. У них глаза другие, понимаешь?

— Ну, елки! — то ли изумленно, то ли рассерженно воскликнул Остромир. — Отец, тебе бы где-нибудь в уголовном розыске работать. Цены бы не было. А почему, зачем, откуда я бегу? Ты, может быть, и это читаешь по глазам?

— Нечистый блазнит. Так я думаю.

— Блазнит? Это в смысле — соблазняет?

— Русский язык мы еще не забыли, похвально, — промолвил священник, поправляя крест на груди.

Присмотревшись, парень увидел в сердцевине золотого креста изумрудно и рубиново мерцающие зрачки драгоценных камней. Такие кресты, позднее узнал Остромир, даются только через десять или даже двадцать лет священнического служения Господу Богу.

Они еще поговорили в тишине. Железник раскрывался всё больше и больше, — как будто на исповеди. Сосредоточенно глядя на пламя свечи, священник по привычке поглаживал седую бороду. Слушал. В глазах его была печаль — большая, неподдельная. Потом, когда парень закончил свою сбивчивую исповедь, он осторожно спросил:

— Если я тебя правильно понял, ты собираешься мстить?

— Так я же — Мстислав.

— Ты сказал — Остромир. Что, соврал?

— Да нет.

— Ну, и забудь про всякую мстительную славу. Ничего хорошего из этого не выйдет. Зло порождает только зло и ничего другого.

— А добро? — запальчиво спросил Железник.

— А добро отзовется добром.

Парень скрипнул зубами.

— А как насчет того, что не делай добра — не получишь зла? Это ж народная мудрость. Я вот сделал добро человеку, а теперь от милиции бегаю.

За окошком по снегу шаги заскрипели крахмалом. В дверь кельи осторожно постучали.

Вздвигнув, парень подскочил. Твердые глаза его метнулись в дальний угол: там, как ему показалось, была дверь запасная или старая, давно забитая.

— Это за мной, — спокойно, тихо подсказал священник, а потом уже громко откликнулся: — Иду! Иду!

Поднимаясь, он поколебал огонек на ближайшей свече. Желтый листок на черной ветке фитиля затрепыхался в потоках воздуха — свеча завяла, источая синеватый запах ладана.

— Я пойду, сын мой, а ты... — священник показал рукой, — ложись вот здесь. В этой подушке, между прочим, сон-трава.

5

Оставшись один, Остромир, как это было уже, снова что-то ощущал за пазухой: «На месте? На месте. Ну, хорошо...»

Он погасил две другие свечи. Посидел в темноте, напряженно вслушиваясь в тишину за окном. Затем, не раздеваясь, рухнул на дощатую кровать поверх одеяла, вышитого золотистыми крестами и замысловатыми славянскими узорами. Голова закружилась. Перед глазами поплыли дороги, вокзалы, случайные встречи, скандалы и драки. Затем он неожиданно всхрапнул и, перевернувшись на бок, задышал глубоко, размеренно. Однако скоро что-то его обеспокоило. Что-то приснилось. Многолетний внутренний разлад — то ли с людьми, то ли с самим собой — будоражил душу. Парень дергался во сне, стонал и так скрипел зубами — вот-вот раскрошатся.

Снился разбитый, грязный Сибирский тракт или Московский тракт — самая длинная дорога на Руси, дорога, по которой брели десятки и сотни несчастных людей, в том числе и он, Остромир Железник. За что он оказался там, среди несчастных этих, бритоголовых? Кто сковал его? Сам. Только сам. «Я — сам

себе тюрьма!» — частенько повторял он, усмехаясь жесткими губами. Уже не первый раз охранники — во сне — гнали Остромира по этапу, нещадно колотили батогами и шпицрутенами, не позволяя ни отдохнуть, ни поесть. Окровавленными ступнями он месил густую трактовую грязь, собирал репейник на драные штаны. Пудовые вериги тяжелили тело. Он спотыкался, падал. Лежа на спине, он всматривался в небо — синее, бездонное, зовущее в свои великие пределы. Смотрел, будто сквозь призму, сквозь дрожащие слезы. «И в небесах я вижу Бога... — шептал он. — Нет! Ни черта не вижу! Да и был ли он когда, ваш Исусик добренький, после первого удара по своей щеке подставляющий вторую щеку? За что, за что всё это мне? Ведь я так мало прожил!» И чей-то голос в небе отвечал: «Ты мало прожил, да, только в том-то и штука, что темные силы порой побеждают не числом, а умением. И за короткую жизнь человек может столько греха сотворить — хватит и детям, и внукам страдать и отмаливать...»

И вдруг Остромир моментально очнулся.

— А? — прохрипел, озираясь. — Чего?

Перед ним стоял священник.

— Был ли Он когда, ты говоришь?

Парень быстро поднялся. Взлохмаченные волосы пятерней причесал.

— Кто говорит?.. Я говорю?..

— Ну, не я же, — вздыхая, ответил священник. — Я не сомневаюсь. Был! И есть!

Остромир будто умылся — широкими ладонями вытирая щеки, лоб. Остановился у окна. Головой встряхнул.

— Так, хорошо. Допустим, был Он, — парень уловил суть разговора. — Если был Он, если есть... Так почему же Он не подскажет, как нам правильно жить? По совести жить, и не резать друга дружку, не жечь, не стрелять. Почему?

— Мудрость Бога — в молчании, — не сразу отозвался священник. — Человеку нужно самому добраться до истины. Лишь плохой ученик торопливо заглядывает в конец учебника за правильным ответом своей задачи. Нужно листать страницы жизни по порядку — до конца, только так чему-нибудь научишься.

— Складно глаголешь, отец, — повернувшись к нему, парень криворото усмехнулся. — Только я тебе что-то не верю.

— По вере нашей нам и воздается.

— Опять слова. Красивые слова, — постоялец зевнул. — Давай-ка спать, отец. Сколько там времени?

— Поздно уже.

— А куда ж тебя носило на ночь глядя? Кто приходил? Ты про меня, случаем, не проговорился?

— Нет. Можешь спать спокойно.

— Легко сказать. Я уже давно забыл такие ночи. Всё время снится хрен знает что.

— Не лайся.

Железник руки вверх приподнял.

— Извини, отец. Это я машинально, — он посмотрел на кровать. — Как спать-то будем тут? Вальтом? Или ты мне постелешь на коврикe возле порога? Буду там лежать, хвостом вилять...

— Раскладушка есть.

— Ништяк. Нормально.

Они угомонились. Но ненадолго. Не в силах заснуть, парень ворочался на раскладушке — пружины жалобно жулькали. Пристально глядя на сонную звездочку, мерцающую в кругляшке морозного окна, Железник осторожно спросил, не спит ли отец Николай. И тому сегодня тоже не спалось. И тогда они снова затеяли приглушенный разговор на тему Бога — был Он когда-то на Земле или на Небе? Есть или нет? И кто такие люди вообще: божьи рабы, или всё-таки дети Его, любимые дети, которым Он подарил возможность явиться в этот мир, чтобы любить и радоваться. Потом полуночные спорщики незаметно как-то смолкли, не доказав один другому своей правды. В теплой, тесной келье стало необычайно тихо. Даже не тихо — глухо. Только дыхание спящих людей было слышно, да огонь лампы — фитилек изредка потрескивал в углу, озаряя золоченый Господний образ. Но это затишье продолжалось недолго. Парень в последнее время действительно забыл, что такое спокойная ночь. Он то и дело вздрагивал и приглушенно вскрикивал от каких-то кошмаров. Иногда, приподнимаясь, широко топырил стеклянные глаза — не мог сообразить, куда его нелегкая

снова занесла. Затем до него доходила картина реальности — глаза теплели. Вздыхая с облегчением, он бездумно, тупо пялился на крохотную золотинку — огонек лампадки, плавающий в розоватом лампадном масле. Слабо озаренный образ Николая Чудотворца смотрел со стены. Иконописный взгляд казался очень строгим и одновременно — умиротворяющим.

Окно заголубело на рассвете.

Восток за рекой разругался.

Парень поднялся, стараясь не скрипеть пружинами, вышел на пару минут и возвратился уже с дровами — десятка полтора полешков прихватил из поленницы, прилепившейся под небольшим тесовым козырьком за глухой бревенчатой стенкой.

— Вот это придавило, — пробормотал он, сдерживая простудный кашель.

Потихоньку открыв чугунную дверцу, посидел на корточках, украдкой смоля окурок и выпуская струйку дыма в печь. Потом дровец натеркал — под завязку. Чиркнул спичкой. Разгораясь, смолистые поленья потрескивали весело, охотно. А за стеною, — тоже разгораясь, — мороз потрескивал. Далекая звезда — лампада мироздания — утренняя Венера мерцала в синевато-мерзлой вышине над тайгой. Искристая ветка мягкой заячьей лапкой доставала до оконной рамы. Угол кельи приглушенно ухнул, придавленный стужей.

«Кошмар! — Железник почесал щетинистую щеку. — Нет, Бог, наверно, всё же есть. Иначе бы я ночью в тайге окочурился!»

Сердце его наполнялось теплом, добрым чувством. И так уютно показалось в этой кедровой келье, так надежно, благостно — хоть опускайся на колени перед иконой Николая Чудотворца, чтоб сотворить молитву благодарности.

«Вот ни черта себе! — он хмыкнул. — Дожился, фраер!»

Глубоко вздыхая, лег на раскладушку и едва ли не сразу поплыл в пучину сна, такого необычного, какого он, пожалуй, не видел и не слышал никогда: шестикрылые херувимы летали вокруг него, сияли звезды и слышалось нечто вроде мощного небесного органа или оркестра, исполняющего церковную музыку.

Впервые за многие месяцы Остромир заснул с улыбкой на устах. Заснул так крепко, что поднялся при свете

морозного дня — солнце в полный рост уже стояло над тайгой, пичуги под окном переговаривались.

6

Седобородый священник в келью вошел — раскрасневшийся после мороза, бодрый. При дневном освещении он выглядел иначе, нежели при сумеречном свете, при свечах — впору было заново знакомиться с этим суровым старцем, глаза которого, казалось, человека могут видеть насквозь.

Поправляя камилавку на голове, он спросил:

— Как спали-ночевали?

— Без задних ног! — признался постоялец. — Давно уже так не отрывался!

— Вот и славненько.

— А что там, за бортом?

— Сорок градусов.

— Ого! Как в поллитровке! Да?

Священник не расслышал.

— Благодать! — воскликнул он, кивая за окно. — Божья благодать!

— Ну, не скажите... — Парень отчего-то перешел на «вы».

Отец Николай неторопливо огладил заиндевелую бороду.

— Люблю январь. Люблю.

— Мне лично лето по душе.

Хозяин включил самовар. Чашки поставил на стол.

— Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи... — он улыбнулся. — Нет, люблю январь! Бодрит! Кровь по жилам гоняет! А кроме того, в январе, как известно, начинается новая жизнь. В буквальном смысле новая — с иголки, которая с новогодней елочки. И морозы в январе стоят, как будто новые, только со старыми заплатками серебристых метелей. А когда отступает январь — за рекой, за горами февраль синие щеки свои надувает, чтобы наполнить леса и поля веселыми, гудящими ветрами, строгающими снеговую стружку с веток, с домов и пригорков...

«Во, как заливается! — Остромир изумленно уставился на батюшку. — Просто диво-дивное!»

За разговорами они попили чаю, и священник поднялся, подернув поручи — парчовые манжеты. Оделся и ушел, сославшись на дела.

И Железник оделся, вышел на крыльцо.

«Мать честная! — ахнул, ослепленный солнцем. — Да тут и правда божья благодать! Аж сердце из груди выпрыгивает!»

Он лопату взял — широкую фанерную грабарку, по краям отороченную ровными лентами кровельной жести. Тропинку к церкви стал расчищать, доставая до мерзлой прошлогодней травы, натываясь на черные сосновые шишки. А потом он услышал паровозный гудок, эхом раскатившийся по тайге, по сопкам. И тут же глаза Остромира, только что веселые, беспечные, беспокойно метнулись куда-то вдаль, настороженно прищурились. Он губы туго стиснул так, как будто рот зашнуровал — от улыбки и следа не осталось. Сердито сопя, скребанул грабаркой еще разок-другой, но уже по инерции, безо всякой охоты. Постоял, оглянувшись на церковь, подумал, что надо бы по-людски проститься с добрым батюшкой, но вместо этого, ожесточенно сплюнув под ноги, всадил грабарку в боковину рыхлого сугроба возле окна и, приподнимая воротник, поспешил на станцию.

«Надо через реку, — вспомнил он, глядя из-под руки, — надо по зимнику. А где он? Ни черта не видеть!»

Ослепительная снегобель едва не заставляла прослезиться.

В морозной синеве отчаянно пылало солнце, да так пылало, будто бы легонечко звенящие острые лучи яростно втыкались в белые папахи на деревьях, на кустах, в гребешки береговых сугробов. Старый кедр, стоящий у дороги, белел широкой затесью: мерзлая смола на давней ране размягчилась — готова покатить золотую слезку на колесках. Желтая хвоинка слетела с кедровой ветки, иголкой воткнулась в белоснежную пуховую вязь. Лед на реке запищал, будто расколотый солнцем, — незримая трещина где-то паутиной по льду распустилась. А дальше — на том берегу — в морозном, безветренном воздухе пластался голубой дымок над вершинами заснеженной тайги. До слуха доносилось приглушенное рычание железных разгоряченных зверей —

трелевочные тракторы с утра пораньше на лесоповалах зверели. Голоса людей из-за реки долетали, собачий лай.

И вдруг парень споткнулся, глядя вдаль. Постоял, присматриваясь, думая, что, может быть, ошибся. Нет, не ошибся.

Милицейская машина медленно корячилась по речному зимнику — темные вешки торчали в снегу. Добравшись до берега, на котором стоял Железнин, машина забуксовала, одолевая крутолобый подъем. Сердце мотора, на предельных оборотах доходя до инфаркта, несколько раз ударило не в такт, и машина заглохла — белое облако пара закучерявилось по-над капотом.

Остромир попятился, прячась за деревьями. Присел на корточки и шапку сдернул — башка моментально взопрела. «Что делать? — лихорадочно соображал. — Может, зона за рекой? Оттуда едут? А куда? Может, кто-то настучал на парня из Ольховки?» Он снял перчатку, зачерпнул пригоршню снега. Пожевал горячим ртом, тихонько выплюнул и под прикрытием кедров и сосен, не забывая оглядываться, пошел в сторону церкви.

Возвратившись, он грабарку подхватил и, как ни в чем не бывало, взялся опять дорожку к церкви разгребать, только при этом поминутно давил косяка — в ту сторону, где заглохла милицейская машина.

Отец Николай не заметил недолгого отсутствия парня.

— Хватит, — сказал он, проходя по чистой тропинке, — отдохни, а то уже взопрел.

— Дак вон как припекает, мать его! — Остромир прищурился на яркий снег, яростно горящий и во дворе, и на крыше.

И через какое-то время они опять сидели в теплой келье за столом. Глаза у священника отчего-то восхищенно сияли. Пространно улыбаясь в бороду, он спросил мрачноватого гостя:

— А помнишь ли ты первый день рожденья своего?

— Да как-то смутно, — усмехнулся парень, настороженно поглядывая за окно.

— Увы! Никто не помнит свой самый первый день. А вот я запомнил всё до мелочей.

— Неужели?

— Шучу, конечно, — оглаживая облако белой бороды, священник неожиданно спросил: — Выпьешь кагора?

— Кого? — парень встряхнулся, приподнимая брови. — Вина? Да за милую душу!

На столе появилась еда — теперь далеко не постная. Бутылка вина замерцала, отражая лучи разъяренного солнца.

— Денек-то сегодня особенный, — загадочно промолвил священник, поправляя на груди епитрахиль небесного цвета.

Глядя на это необычное убранство батюшки, Железник спросил:

— Церковный, что ли, какой-то праздник?

— Потом скажу. Ну, выпей, сын мой, выпей. Душу отогрей.

Шевеля ноздрями с глубоким вырезом, — нюхая кагор, — Железник спросил:

— А по какому случаю? За что?

— А за здоровье милой матушки моей! Выпей да просвиркой закуси.

— А что это за свирка?

— Просвирка или просфора, если коротко, — церковный, обрядовый хлеб, который в православии употребляется для таинства причастия и для поминовения живых и мертвых.

После большого глотка в груди у парня сладко загорелось.

— Хорошее винцо, хотя и слабоватое. Беспонтовое. Тут и закуски не надо, — Остромир сильной лапой своей погладил, поцарапал возле сердца. Мрачные глаза повеселели, когда он снова глянул за окно. — Вот теперь мне всё по барабану! Пускай приезжают!

— Кто? — не понял священник.

— Да хоть кто! — Железник хохотнул. — Я извиняюсь, а можно еще? Слабоватое всё-таки.

— Пей, а что же — смотреть на него?

Парню стало совсем хорошо.

— Отец! — он широко улыбнулся. — Так на чем же мы остановились? На какой-то лирической ноте? — он удивленно pokrutil головой. — А я ведь когда-то стишки кропал. Seriously.

— Ну, послушай стишок, только в прозе, — священник охотно вернулся к своей прерванной мысли. — Почему я помню свой первый день рождения? Матушка моя рассказывала. Неоднократно вспоминала, какое веселое краснощекое утро было в том

далеком январе, когда мое первое солнышко зацвело в небесах над чистыми просторами.

И снова отец Николай, удивляя красотой русского слова, начал так вдохновенно рассказывать — хоть бери записывай за ним.

7

...Морозное утречко раззолотилось над широкими алтайскими просторами. Медовое солнце, всё выше и выше поднимаясь над завьюженной землей, сладкими каплями оседало на мохнатых кустиках полыни, на рябинах, на кустах смородины, и очень жалко было, что пчелы в ульях спят: ох, какой славный медонос они проспали. Зато не спят, горланят петухи — распетушились так, что эхо в соснах зазвонисто кукарекает, поднимает на ноги людей, коров. И только верблюды спят себе: и ухом лень пошевелить. Но это потому, что верблюды — необычные. Неподалеку от Алтая — за лесами, за степями — Казахстан, поэтому сугробы издалека представляются белым верблюжьим караваном, который устал в пути, уханькался, вот и решил прикорнуть на меловом рассыпчатом песке, сияющем от солнца. А может, караван с дороги сбился — заблудился в белоснежной пустыне, над которой мерцала ледяная лазурь. Жесткой верблюжьей колючкой мороз кололся в той пустыне. И пахло — ароматно, славно пахло свежим верблюжьим молоком, какое в ту пору давали попить многострадальной роженице, чтобы скорей поправлялась — роды были трудные.

Ближе к полудню пригрело. С деревьев запорошилась кухта — косматый иней, спутник сибирского мороза. Эта кухта — великая искусница, знатная рукодельница, испокон веков умеет по ночам работать лунной иголкой или звездной; вышивает незримой ниткой, одевает и украшает каждую былинку, каждый кустик, каждую ресничку на сосне. Проснешься, бывало, и ахнешь. Какие хоромы стоят во дворах! Какие пышные леса и поля окружают деревню! Откуда в природе берется столько доброй, столько светлой, несказанной силы, способной бесконечно удивлять, осветлять? И если бы не эта божья благодать, дающая нам радость обновления, как бы мы жили?

Иней — капризное кружево. И потому всякий раз по сердцу, по душе царапнет горечь сожаления, когда налетающий ветер срывает, в пух и прах превращает кружевное рукоделие природы. И в то же время сердце радо, поскольку этот «пух и прах» — верный признак отступления мороза. Покуражился и хватит, надо меру знать. Так что пускай набегает порывистый ветер, пускай летят лохмотья серебряной кухты, трусом трусятся на старое крылечко, ключьями цепляются за изгородь.

Еще недавно бедные, продроглые воробышки на ночь глядя все застрехи запыживали, а теперь — гляди-ка! — они оттуда пулями постреливают, мягко шлепаются в снег, синь-порохом вздымая искристую пыль. Божьи птахи купаются, умываются, выскребают, вычищают крылья и хвосты — на снегу остаются помятые перышки, труха и золотистый, тонкий луч соломинки из теплого гнезда. Принарядившись, приободрившись, воробышки садятся на мерзлый подоконник — там прибита кормушка. И тут же в компанию проворных воробьев откуда-то ветром приносит двух или трех изголодавшихся сестричек-синичек. От слепящего солнца прикрывая черные бусинки глаз, возбужденно растопыривая крылышки, грудью наседая друг на друга — воробы и синицы верещат, скандалят, как на базаре, словно торгуются, покупая каждое зернышко.

Седая старуха на крылечко не спеша выходит. Птичий базар смолкает, как по команде. Затаив дыхание, воробы и синицы глядят на свою кормилицу-поилицу. Морщинистая щедрая рука наполняет стылую кормушку. Воробы и синицы настолько оголодали — выхватывают зерна прямо из руки, острыми клювиками жалют кожу на старых ладошках, намозоленных бесконечной работой. Уходя, бабка ворчит и хмурится на «оглоедов», берет в сарайке под навесом берем дров — червонною смолой оплывшие сосновые поленья попеременно с березовыми. В дом она старается войти как можно скорее — тепло надо беречь. Но морозное облако, похожее на белую косматую дворнягу, успевает под ногами прошмыгнуть. Кубарем закатываясь в дом, «собачонка» мордой тычется в передний угол, обнюхивает печку, заползает под лавку и пропадает где-то в темном углу, где сердито взъерошилась серая кошка, недовольная ворвавшимся холодом.

Люлька — простая деревянная ладья, которая со скрипом уже поплыла по житейскому морю — люлька с младенцем находилась далеко — за дверями в горнице. Но младенцу почему-то запомнился, в душу запад запах ядреного морозного воздуха и аромат соснового полена, облитого смолой, разнежившейся в тепле. А еще запомнилось яркое окно, затянутое полосками сусального золота: солнце смотрит в избу, солнце острыми и яркими иголочками протыкает занавеску на люльке. И потому занавеска напоминает пчелиные соты, переполненные загустевшим медом. А временами, когда мама или бабушка покачивают люльку, солнце, будто из ковша, плещется вовнутрь и заставляет безбрового младенца хмуриться или улыбаться малиновыми пухлыми губенками, в которых виднеется пустышка, — гороховым стручком торчит. Так, вместе с солнцем в люльке, он и засыпает. А когда открывает глаза — будто вечность прошла! — в доме пасмурно, тихо.

Из-за горизонта наползает облако — страшноватое, похожее на чудище, проглотившее солнце. Из яркого снежного ковра за окнами ветер вычесывает солнечные искры. Снег быстро гаснет, голубея поблизости, чернея в далеких логах, откуда птицы наутек пускаются к домам, к сараям, к спасительному пологу соснового бора. И курица, которая не птица, тоже спешит домой, заполошно кудахтая, — через силу перелетает забор. Только петух еще бодрится, хорохорится, прищелкивая шпорой и потрясая малиново-красной бородкой, напоминающей помятый цветок пиона — марьиного корня. Изображая из себя великого начальника — хозяина курятника, петух, сердито рокоча по поводу испорченной погоды, удаляется под навес и тут же находит себе дело: налетает, насаждает на пеструю несущку — начинает из нее «золотое яичко выдавливать», если верить деду-шутнику.

Зимний денек — воробыный скок. Вот и потемнело в небе над деревней. Зашумели сосны за рекой. Солома подол задрала на сарае. На краю огорода заскрипела высокая, гладкая жердь, увенчанная серебряной короной заснеженного скворечника. Снеговая туча распахнула свои объятия — и на землю посыпался как будто поднебесный, белый райский сад: лепестки и цветы закружились, сыпом осыпая крыши, тополя, березы, безголовый посошок подсолнуха, торчащего около калитки, ведущей

в огород. Сказать, что это были крупные снежинки — всё равно, что ничего не сказать. Это был редчайший, необыкновенный снегопад. Каждая снежинка в небе раскрылась — величиною с детскую ладонь!

8

Рассказчик улыбнулся, раскрывая свою ладонь в виде большой снежинки. Потом вздохнул вдогонку светлым воспоминаниям. Кончик бороды скрутил серебряным колечком на указательном пальце.

— Вот такой был первый день рожденья у меня! — рассказчик перекрестился. — Веришь, нет ли, но это так.

Парень выпил остатки кагора. Посмотрел за окно.

— Лев Толстой, говорят, помнил себя в самом этом... в глубоком младенчестве.

— Нам далеко до Толстого.

— Ой, далеко, — Остромир согласно покивал. — Я так вообще себя не помню лет до четырех-пяти.

— А что так поздно?

— Да так вот...

— Жалко. Первые воспоминания — самые ценные.

— Сомневаюсь. Батя у меня крутой был. Так что... ничего хорошего.

Они помолчали. За окном уже за вечерело. Отец Николай поднялся, поправляя подризник — широкое белое облачение, так называемую «одежду радости», выглядывавшую из-под ризы. Поставив подсвечник на стол, он свечи зажигать не торопился.

Дятел под окно вдруг прилетел. Костяным долотом постучал в крестовину, что-то выискивая.

Глядя на работника с длинным долотом, священник вздохнул.

— Нам бы только детство сохранить в душе, а всё остальное сохранить будет проще в этом бушующем мире, — заговорил он, будто проповедуя. — Нам бы только помнить свой первый день рождения — день прихода в Божий мир. Помнить первый по свист соловья, первый шепоток зеленого весеннего листа или золоченого осеннего... Ты вот не веришь, сын мой, вижу по глазам.

А я действительно запомнил тот далекий морозный день. Помню, как снежинки шаловливо шелестели по-над ухом, шептали что-то...

Хмель выходил из головы, а вместе с ним и лирика, и поэтому парень спросил, не скрывая насмешки:

— Ну и что же они нашептали на ухо? Снежинки.

— Точно не могу сказать, — священник задумался. — Что это было? Шепот белокрылых ангелов? Или чья-то небесная песня? Или стихи? Или церковные, пресветлые стихирьы? Не знаю, что это было, только уверен, что без помощи Господа Бога там, конечно, не обошлось. И вот прошло полвека... У меня ведь нынче именины, — проговорился отец Николай. — И не просто именины. Как сказал один ребенок: «В этот день его все любят, потому что — любилей!»

— Ах, вот оно что! Любилей! — парень покосился на календарь, потом на священника, облаченного в парадные одежды. — Как я раньше не допер! Башка еловая! Ну, поздравляю! — Остромир поднялся, пожал руку священника и вдруг многозначительно добавил: — Подарок за мной!

Отец Николай не придавал значения этим словам.

— Да, да, миновало полвека, — продолжал он, — а я всё тот же... «Я по-прежнему такой же нежный», как пропел наш русский соловей. И всё мне интересно в этом мире. Ты вот вчера говорил — жить надоело.

— Кто? Я? Когда это?

— Забыл?

— Видать, спросонья вырвалось.

— Возможно. Извини. Я о другом хотел сказать. Прошло полвека, а я в душе — всё тот же мальчик, который помнит свой самый первый день рождения...

«Одно да потому! — Остромир тоскливо посмотрел на бутылку из-под кагора. — Надо когти рвать, пока не замели!»

Он поднялся. Полено подкинул в печь. Сидя на корточках, глазами царапнул окно, по краям оплавленное морозным оловом.

— А когда здесь поезд останавливается? Не знаете?

Священник посмотрел на численник, отмеченный постами и церковными праздниками.

— Поезд будет завтра. В девять часов. А точнее — в девять пятнадцать.

Сутулясь, парень вышел на крылечко. Простудно покашлял, покурил, наблюдая, как быстро догорает закатное солнце, раздробившись на червонно-желтые куски между деревьями. Синие сумерки выползали откуда-то из-под берега. Пропадали очертания сугробов. Странное дело, но эти сумерки, трещающие морозом, — в них Остромиру было спокойней, уютней, как большому загнанному зверю.

Выйдя за калитку, Железник постоял, послушал морозную темень. Понюхал дымок, долетавший из трубы, изредка искрящей над кедровой кельей. Кругом было тихо, умиротворенно.

«Выпить бы еще, — парень погладил грудь, — совсем порядок был бы!»

Вернувшись в келью, Остромир то ли спросил, то ли довел до сведения:

— Я переночую.

Священник плечами пожал.

— А кто тебя гонит?

— Судьба.

Одеваясь, отец Николай промолчал.

Дверь за ним тихо закрылась.

Необычайно высокая, морозная ночь над землей распростерлась — многозвездная, ясная. Страшно красивая ночь. Не дай-то бог в такую пору оказаться в далекой дороге, без крыши, без огня, без добротной одежды. Как ни ярко звезды светят, но не греют.

«Ничего, скоро придет послабление, — ворочаясь, утешил себя парень. — Вороны и галки вчера садились на землю — оттепель не за горами. Надо ехать до дому, до матери. Надо семьей обзаводиться. Хватит козлом скакать по белу свету!»

Не спалось ему. Поднялся потихоньку, подбросил дровишек. Глядя на золото остывавших углей, он что-то ощупал за пазухой.

«Отдать подарок? Или нет? — Остромир засомневался. — Нужно отдать, коль заикнулся. Я же не фраер — трепать языком».

Он прилег на раскладушку. Жесткими глазами уставился на потолок, где метушились отраженные блики огня. Незаметно задремал, но скоро вздрогнул — от морозного выстрела за окном.

9

Вдалеке, за рекой на востоке небеса начинало отбеливать, когда парень покинул кедровую келью. (Подарок свой оставил на столе, на видном месте). Ржаная краюха луны догорала над вершинами тайги. В морозных небесах уже наметился предрассветный румянец.

Шагая вдоль берега, Железник сунул руку в пазуху. Вынул пистолет, хорошо согретый под сердцем. Постоял, посомневался. Потом зашвырнул — высоко, далеко. И услышал, как внизу под берегом утробно булькнуло — в темной дымящейся полынье. «Вот так-то лучше!»

На душе стало полегче, повеселей. Он с трудом добрался до полустанка — за ночь дорогу заснегопало. И полустанок тоже был в снегах до крыши — только труба чернела обугленным пеньком. К невзрачному, сиротскому вокзалу, какие бывают только в российских глубинках, нужно было пробираться по длинному «окопу», узко пробитому в сугробах. Странно, что кто-то еще в этой глухомани позаботился — прокопал дорожку до двери. Но еще страннее оказалось то, что касса работала.

Остромир, купив билет, прилег на вокзальную жесткую лавку и закемарил, слушая вполуха то, что происходит рядом: техника шарaborилась, мокрой тряпкой шлепала, протирая пол; муха над головой брюзжала, отогрившись за печкой-голландкой, крутобоко стоящей в углу.

Затем кто-то повелительно тронул за плечо.

— Гражданин! — раздался казенный голос.

— А? — он моментально подскочил.

Перед ним стоял молоденький милиционер. Форма еще новая, не обмятая. В первый момент сердце у парня упало, а потом — даже сам не зная, почему — он приветливо вдруг улыбнулся.

— Здорово, командир! Что за проблемы?

— Попрошу документики! — милиционер лениво взял под козырек.

— Да запросто.

Железнин был спокоен. (Сам себе удивился). Розовощекий сержант проверил документы, посмотрел билет.

— Откуда едем?

— В гостях был у отца... Кха-кха... У отца Николая.

— У Чудотворца?

— Ну да.

— Знакомый, что ли?

— Да считай что родственник.

— Понятно. Ну, счастливо, — возвращая всё, что взял, милиционер опять лениво козырнул. — Глядите не проспите, гражданин.

— Да боже упаси!.. — Железнин чуть было не перекрестился, глядя в спину милиционера.

Внешне-то он, Железнин, был спокоен, а внутри — внутри пожар забушевал. Во рту пересохло так, что язык зашуршал обрывком наждачной бумаги.

Подойдя к питьевому фонтанчику, парень долго, жадно глотал. А потом опять прилег на лавку, и опять забылся — теперь уже почти беспечно, беззаботно.

И опять разбудили его — минут через двадцать. На этот раз священник перед ним стоял. Был он раскрасневшийся с мороза, борода заиндевела, брови тоже. В руке у него зажат какой-то вишневатый посох, сверкающий стальным наконечником, сверху увенчанный золотистым небольшим крестом.

— Это ваше? — сурово спросил он, поздоровавшись. — Возьмите.

Железнин посмотрел на протянутую ладонь отца Николая.

— А что это? — притворно удивился.

— Сдается мне, что золото, — строго ответил батюшка. — Заберите.

— Я подачек не беру! — грубовато отказался Остромир. — Я уж как-нибудь сам...

Грубоватость эта прозвучала весьма убедительно.

Отец Николай растерялся.

— Разве это не ваше?

— Нет, не мое, — Остромир покачал головой. — Я думал, вы мне это предлагаете, как бедному родственнику.

Священник поцарапал бороду.

— Правда, не ваше?

— Ну, вы сами посудите: зачем бы я стал такими самородками разбрасываться? Что я — совсем уже чокнутый? Этого добра хватило бы на всю мою оставшуюся жизнь.

Батюшка в недоумении посмотрел по сторонам.

— Ну, тогда уж я не знаю, что и подумать! — пробормотал он. — Просто диво дивное какое-то! Без Господа Бога тут, похоже, не обошлось...

Вскоре они вышли на перрон, там и тут перетянутый застругами.

Где-то за плотной стеной сосняков прожектор обозначился горизонтальным белым столбом. И земля под ногами слегка заподрагивала — поезд приближался.

— Расчистили дорогу-то, — священник от удивления даже посохом своим пристукнул. — Вот молодцы.

— Расчистили! — с удовольствием подхватил Остромир. — Давно пора! Хватит стрекозлом скакать по бездорожью!

— Что? Как вы сказали?

Железник сощурился, глядя вдаль — в ту сторону, откуда вот-вот должна была вынырнуть громада пассажирского состава.

— Вы это... вы идите, — смущенно попросил он. — Я не привык, чтоб меня провожали. Люблю уходить по-английски.

— Но вы же русский человек.

— Русский, да. Но я учился в Англии. В самых лучших домах Лондона! — отшутился Остромир, нажимая на последнее «о» в слове Лондон.

— Ну, тогда — конечно! — как будто всерьез согласился священник.

Вдалеке послышался раскатистый гудок — эхо загуляло по округе. Земля еще сильнее под ногами затряслась. И что-то в душе Остромира как-то непривычно, горячо и мелко затряслось. «Рассентименталился как баба!» — мелькнуло в голове.

Черт его знает, что вдруг накатило. Он был, в общем-то, каленый парень, тертый, битый в разных переделках, и вращался он в кругу таких людей, которые любые слезы воспринимали как проявление слабости.

Заметив повлажневшие глаза Остромира, священник голову поднял, глядя на снежинки, плавно кружащие над перроном:

— Если прикрыть глаза и всей душой прислушаться, можно услышать молитву — в этих снежинках.

— Да ну? — и Остромир поднял глаза. — Надо попробовать. Он зажмурился и часто-часто заморгал, чтобы прогнать непрошеную «слякоть».

— Попробуйте. Только нужно побыть одному, в полном покое, тогда услышите. Впервые это со мной случилось в одном прекрасном старинном русском городе, когда я находился неподалеку от Божьего храма. Я тогда еще не был священником. Был простым послушником.

— Что это значит?

— Ну, как вам сказать? Послушник приходит в Божий храм и послушно делает любую работу, какую дадут. Я таскал кирпичи, красил стены, мусор в саду убирал. И вот однажды я стоял, глядел на золотые купола — и услышал молитву небес. То есть, это был, как люди говорят, обыкновенный снегопад. Но... но это было Божье провидение! Да, да! В свой день рождения мне вдруг было дано услышать молитву, которая так и называется — «Молитва в день рождения».

— Прочитайте! — вырвалось у парня.

Грохочущая громада поезда уже накатывала из-за поворота, и священник не успел бы прочитать — при всем желании.

— Вы потом прочитаете, дома, — прошептал он, протягивая небольшую, аккуратно сложенную бумагу. — А теперь я хочу вас благословить на добрую дорогу! На добрую жизнь!

Сколько зим, сколько лет миновало с тех пор — пальцев не хватит пересчитать на руках и ногах, как любит шутить

Остромир, давно уже ставший степенным, седым Остромиром Александровичем.

Живет он теперь как самый примерный добропорядочный семьянин — человек некурящий, вино не пьющий, разве что по праздникам, да и то лишь церковный кагор, припасенный для редких, торжественных случаев.

Работающий от природы, неутомонный, Железник построил крепкий дом, женился, и теперь у него ребятишек — почти что семеро по лавкам ползают. Всё было прекрасно у него.

— Одно только плохо, — сказал он однажды.

— А что? В чем дело? — удивилась жена.

Остромир Александрович покаянно вздохнул.

— Давно, давно я, грешный, не заглядывал на тот высокий берег, где стоит златоглавый Николай Чудотворец.

— Какой Чудотворец?

— А разве я тебе не говорил? Нет? — Остромир Александрович нахмуробровился. — Ну, значит, не хотел грехи своей далекой юности на свет вытаскивать.

— Какие грехи?

— Да что теперь об этом! Эх! — качая седую головой, он задумчиво смотрел на небольшую икону в красном углу. — Хороший был священник. Отец Николай. Я больше таких не встречал.

— Помер, что ли? — спросила жена.

— Не знаю. Говорю ж, давненько не был. Хочется думать, что жив. Хорошие люди подолгу живут. Хотя, конечно, не всегда, не все. Дай Бог ему здоровья и, как говорится, многая-многая лета! — Остромир Александрович улыбался, обращая глаза в туманную даль за окном. — Я всякий раз вспоминаю о нем, когда приходит очень грустная минута. Или — очень светлая.

Покопавшись в ящиках комода, смастеренного своими руками, Остромир Александрович вынимал пожелтевшую от времени бумагу.

— «Молитва в день рождения», — с улыбкой сообщал в который раз. — Отец Николай подарил.

Глядя на икону Чудотворца и напрочь забывая про бумагу, — он ее знал наизусть, — Остромир Александрович принимался читать, гудящим басом невольно подражая отцу Николаю:

— Господи Боже, Владыка всего мира видимого и невидимого. От Твоей святой воли зависят все дни и лета моей жизни. Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще один год. Знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему. Продли и еще милости Твои мне, грешному. Продли жизнь мою в добродетели, спокойствии и здравии, в мире со всеми сродниками и в согласии со всеми ближними. Подай мне изобилие плодов земных и всё, что к удовлетворению нужд потребно. Наипаче же очисти совесть мою, даруй мне покаяние, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя по нему, после многолетней в мире сем жизни, перейдя в жизнь вечную, удостоился быть наследником Царства Небесного Твоего. Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей. Аминь.

Эту «Молитву в день рождения» в семье приходится читать несколько раз в году — ребятишек много, плюс мамка да плюс папка.

И всякий раз хозяин шумного семейства добрым словом вспоминает человека добрейшей души — отца Николая. И уж непременно Остромир Александрович вспоминает про него, когда по-над землей кружится и «молитву шепчет» необыкновенно крупный снегопад. Тогда Остромир Александрович берет с собою всех ребятишек — больших и малых — выводит во двор и ставляет закрыть глаза, прислушаться к себе, к миру Божьему.

Детишки вечно рады верить сказкам. Запрокинув мордашки, они охотно жмурятся и, широко улыбаясь, старательно слушают какие-то бездонные, безбрежные горние глубины, о которых знают со слов отца.

Что им слышится, милым? Что чудится? Может быть, шелковый шелест поднебесных опадающих цветов, а может быть, таинственный, растворенный в воздухе голос чудодейственной молитвы — светлый привет, слетающий с небес.